АЛЕКСАНДР ФРОСТ

# ВОЛЧАРА ИЗ БУДУЩЕГО

## ПОЧЕРК УБИЙЦЫ

*Оснований для объединённой проверки не усматривается. Считать утратившими розыскное значение.*

*Исполнено. петля*





ДЕЛО ПРЕКРАЩЕНО

Он знает, чем всё кончится.
И не имеет права сказать

КНИГА 2

Волчара из будущего

Александр Фрост

# Волчара из будущего. Почерк убийцы

«Автор»
2026

**Фрост А.**

Волчара из будущего. Почерк убийцы / А. Фрост — «Автор», 2026 — (Волчара из будущего)

Хабаровск, 1938 год. Большой террор в разгаре, а серийных убийц в СССР не существует: это буржуазный миф. Но старший лейтенант угрозыска Волченко знает, что в крае уже четвёртый год пропадают одинокие приезжие женщины, и всех находят одним и тем же способом.На заводе «Дальдизель» раздавлен мастер, трос оказывается подпиленным. НКВД объявляет диверсию и берёт троих слесарей. Чтобы вытащить их, Волченко приходится доказывать, что диверсии не было вовсе, а настоящий мотив лежит в тридцатом году и стоит дороже любой политической статьи.Резолюция на старом рапорте, которой закрыли три дела сразу, написана рукой человека, расстрелянного в тридцать седьмом. Все, кто мог ответить, мертвы. Осталась бумага, и ещё одна женщина, которая вышла из дома в выходном платье и не вернулась.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 23
Глава 5 29
Конец ознакомительного фрагмента. 32

# Александр Фрост
# Волчара из будущего. Почерк убийцы

## Глава 1

Сорок одна минута.

Волченко защёлкнул крышку часов и подышал в кулак. Пар выходил густой, тяжёлый, оседал на воротнике шинели белой крупой. Третий раз за неделю он шёл этим путём — от проходной пекарни номер два до крыльца общежития на Серышева — и третий раз получалось одно и то же. Сорок одна. Сорок три. Сегодня сорок.

Двадцать восемь градусов мороза. Снег под ботинками не хрустел, а взвизгивал. Улица лежала пустая, в синей темноте, и фонари на ней горели через два на третий — экономия, приказ по горкоммунхозу, вывешенный ещё в октябре.

Он остановился у поворота на Запарина и оглянулся.

Вот здесь. Здесь она прошла в последний раз, если прошла. Пекарня за спиной — три квартала, тёплый хлебный дух, который тянулся за человеком ещё долго, пока не выдувало. Впереди — общежитие, низкое, двухэтажное, с жёлтыми квадратами окон. Между ними — четыреста шагов, из которых двести Волченко прошёл в полной темноте, потому что на этом отрезке не горело ни одного фонаря.

В его времени здесь висели бы камеры. Три, может, четыре: на магазине, на подъезде, на углу у банкомата. Он бы сел с оперативником за монитор, перемотал на двадцать два тридцать и смотрел бы, пока не заболели глаза, и нашёл бы её — в кадре, с опущенной головой, в восемь секунд ходу от того места, где она перестала быть.

Здесь не было ничего. Темнота, снег, собачий лай со стороны складов.

— Стой! Кто идёт?

Из-за угла вывернул постовой — в тулупе до пят, с винтовкой за плечом, с башлыком, завязанным под подбородком. Молодой, судя по голосу. Лица не разобрать.

— Угрозыск. — Волченко достал удостоверение, протянул, не снимая перчатки.

Постовой поднёс книжицу к глазам, покрутил. Читать в такой темноте было нечего, но порядок есть порядок.

— Третий раз вас вижу, товарищ лейтенант.

— Значит, глаз хороший.

— Ищете кого?

— Ищу.

Постовой помялся. От него пахло махоркой и тулупной овчиной.

— А тут, окромя меня, и нет никого. Ночью-то. Холодно.

— А одиннадцатого ноября ты стоял?

— Нет. Одиннадцатого у меня выходной был. Я в бане был, на Комсомольской.

Волченко кивнул и пошёл дальше. Постовой что-то сказал в спину — не то «счастливо», не то «ну-ну». Снег визжал.

Тринадцать дней.

Тринадцать дней с того вечера, как Соколова Зоя Петровна, двадцати четырёх лет, уроженка Благовещенска, вышла с вечерней смены и не дошла четыреста шагов до своей койки. За тринадцать дней он опросил двадцать два человека. Проверил морги, больницы, вытрезвитель, приёмник-распределитель, все три отделения милиции. Послал запрос в Благовещенск — ответ пришёл на четвёртый день: родни не значится, по месту прежнего жительства не появлялась.

Ничего. Как будто её вынули из города пинцетом.

Общежитие пекарни стояло боком к улице, и крыльцо у него было с торца, с деревянным козырьком, под которым намело сугроб по колено. На перилах висела детская варежка — красная, с белым оленем, забытая неделю назад и примёрзшая. Волченко каждый раз на неё смотрел и каждый раз думал, что надо бы сказать вахтёрше. И не говорил.

Внутри пахло щами, мокрым валенком и карболкой.

— Опять вы, — сказала вахтёрша, не поднимая головы от вязания. Звали её Агафья Тихоновна, и она вязала всегда — носки, рукавицы, что-то бесконечное серое. Рядом на табурете спал кот, подвернув под себя лапу.

— Опять.

— Валька наверху. Смена с шести, значит, дрыхнет.

— Разбужу.

— Будите. — Спицы щёлкнули. — Только вы ей не говорите, что Зойка померла. Она плакать будет, а ей в пять вставать.

— Я не говорил, что померла.

— А вы и не говорите. Вы ходите.

Он поднялся на второй этаж. Коридор был длинный, с лампочкой в одном конце, и половицы в нём пели на разные голоса — где скрипели, где ухали. На стене висел листок с расписанием дежурств по кухне и объявление о собрании, назначенном на позапрошлую пятницу.

Комната девять. Он постучал.

Валя Пименова открыла, завернувшись в одеяло поверх рубахи. Лицо у неё было смятое со сна, с розовой полосой от подушки через щёку. Увидела форму, отступила, пропуская.

— Я уже всё сказала.

— Знаю. Я ещё спрошу.

В комнате стояли три койки. Две — застеленные, третья — голая, с полосатым матрасом, свёрнутым валиком. Над ней на гвозде висел мешочек из синего сатина. Волченко посмотрел на мешочек, потом на Валю.

— Не снимаю, — сказала она. — Нехорошо.

Он сел на табурет. Валя села на свою койку, подобрав ноги, и замоталась плотнее.

— Валя. Когда Зоя уходила на смену одиннадцатого — что она взяла с собой?

— Я говорила. Сумочку взяла. Платок.

— Что в сумочке?

— Откуда я знаю.

— Вы в одной комнате два года. Знаете.

Под одеялом Валя подтянула колени к подбородку.

— Паспорт взяла, — сказала она наконец. — И справку с пекарни. Она её три дня у Екатерины Васильевны выпрашивала — что работает, что характеристика хорошая. Екатерина Васильевна ей выписала.

Вот это было новое. За тринадцать дней — первое новое.

Волченко не шевельнулся. Достал блокнот — медленно, чтобы не спугнуть, — и карандаш.

— Зачем ей справка?

— Для прописки. У неё временная была, на полгода. В сентябре подавала продлить — отказали. Второй раз отказали. Сказали — жилплощадь не соответствует норме, общежитие ведомственное, а она с первого января уже не числится, потому что пекарня штаты режет. — Валя сглотнула. — Её бы выслали. За сто километров, а то и дальше.

— Это она вам говорила?

— Плакала. — Валя посмотрела в угол. — Она сильная была, Зойка. Весёлая. А тут ревела, как маленькая.

Карандаш в пальцах Волченко остановился.

Шура Бельских сидела на такой же койке в общежитии на Фрунзе и говорила почти теми же словами. Отказали. Плакала по ночам. Есть человек, обещал помочь. Только никому.

— Валя. Кто-нибудь обещал ей помочь?

Девушка опустила голову. Долго молчала — так долго, что Волченко успел услышать, как за стеной кто-то кашляет и как на улице, далеко, гудит паровоз на станции. Гудок шёл длинный, на одной ноте, и Волченко поймал себя на том, что считает его длину. Шесть. Семь. Восемь.

Восемь секунд одной ноты. Он сжал карандаш, и гудок оборвался.

— Был человек, — сказала Валя.

— Кто?

— Не знаю. Честно не знаю. Она не называла.

— Как говорила про него?

— «Один товарищ». И смеялась. Я спросила — ухажёр? Она говорит: нет, по делу. Серьёзный, говорит, человек, не нашего полёта. Обещал всё устроить — и прописку, и с работой. Я ей говорю: Зойка, задаром не устраивают. А она: так я ему и сказала. А он, говорит, мне на это: «Я у вас ничего не прошу».

Волченко записывал. Рука шла быстро, буквы ложились мелко и чисто — за осень он выучился писать пером так, что Зина больше не вздыхала над его рапортами.

— Она с ним встречалась?

— Один раз. В октябре. Нарядилась — бусы надела, синие, стеклянные, ей мать покойная оставила. Пришла в двенадцатом часу, довольная. Сказала: всё будет. Бумагу показывала.

— Какую бумагу?

— Я не разглядела. С печатью.

Он остановил карандаш и посмотрел на свёрнутый матрас. Бумага с печатью. Галина Мартынова показывала соседке бумагу с печатью и прятала её быстро, как прячут то, чего не должно быть.

— Валя. Эта бумага осталась в комнате?

— Нет. При ней была.

— Вещи Зои — кто-нибудь смотрел? До меня?

Валя подняла глаза. И Волченко увидел: вот сейчас.

— Приходили. — Она поправила одеяло. — Через неделю. В штатском, один. Показал книжечку, я не успела прочесть. Сказал — по вопросу Соколовой. Спросил, не оставила ли она бумаг. Посмотрел в тумбочке. Ничего не взял.

— Как он выглядел?

— Обыкновенно. Пальто, шапка. Не старый, не молодой. — Она потёрла глаз кулаком, по-детски. — Я его лицо потом вспоминала и не вспомнила. Вот будто и не было лица.

— Он что-нибудь сказал на прощание?

— Сказал. — Валя говорила совсем тихо. — Сказал: дело тонкое, лишнего никому не рассказывайте. А я вам рассказываю.

— Правильно делаете.

— Правда?

Он посмотрел на неё — на смятое лицо, на красную полосу от подушки, на обкусанные ногти, — и соврал. Соврал легко, привычно, как врал тысячу раз свидетелям, которым нечем было помочь.

— Правда.

На улице мороз взял по-настоящему. Волченко шёл в управление пешком — автобус ходил до девяти, а было начало двенадцатого, — и всю дорогу считал. Не шаги. Фамилии.

Лисицына, тридцать четвёртый. Савельева, тридцать пятый. Гордеева, тридцать шестой. Мартынова, пятнадцатое августа тридцать седьмого. Соколова, одиннадцатое ноября тридцать седьмого.

Пять. И две из них — за один год.

Он остановился посреди пустой мостовой. Над городом стояло небо, какого в его времени над Хабаровском не бывало: чёрное, без подсветки, с такой плотностью звёзд, что они казались насыпанными. Где-то на Амуре трещал лёд.

Темп. Вот что изменилось. Четыре года — четыре женщины, одна в год, по часам. И вдруг — две за три месяца.

Он знал, что это значит. Знал из двадцати лекций, трёх конференций и одной толстой переводной книги, которую читал в самолёте по дороге в Москву. Интервал сокращается, когда убийце становится хорошо. Когда он понял, что его не ищут.

А ещё — когда он торопится.

Волченко пошёл дальше. В висках стучало, и он не сразу понял, что это не кровь, а молоток: на углу Серышева и Калинина сторож заколачивал фанеру в разбитое окно продмага, и каждый удар отдавался между домами.

Утром Гусев вызвал его к себе.

Начальник отдела сидел за чистым столом, в наглаженном кителе, и был в хорошем настроении — это читалось по тому, как он держал ручку: не как дубину, а как ручку.

— Волченко. Соколова.

— Работаю, Фёдор Степанович.

— Тринадцать дней работаешь. — Гусев постучал ногтем по тонкой папке. — Что есть?

— Есть маршрут. Есть временное окно в сорок минут. Есть свидетель, который подтверждает, что ей отказали в прописке и что ей кто-то обещал помочь.

— Кто?

— Пока не установлено.

— Пока. — Гусев отложил ручку. — Слушай меня. Баба двадцати четырёх лет. Приезжая. Без родни. Прописку ей не дали, с работы сокращают. Что делает баба в таком положении?

— Что?

— Садится в поезд и уезжает. К тётке, к куму, к мужику в Биробиджан. Это не убийство, Волченко. Это жизнь.

— Она оставила паспорт?

— Она взяла паспорт. Ты сам сказал.

Тут Гусев был прав, и Волченко это знал. Паспорт с ней. Деньги — неизвестно, были ли. Вещей в комнате немного, и половину мог унести кто угодно за две недели.

— Вещи остались, — сказал он. — Зимнее пальто осталось. Валенки остались. В ноябре. При двадцати восьми градусах.

Гусев поморщился.

— Может, в новых уехала.

— У неё не было новых.

— Откуда ты знаешь?

— Я смотрел в тумбочке.

Начальник отдела побарабанил пальцами по папке. Он не был дураком — Волченко давно перестал считать его дураком, — он был человеком, у которого дочь в институте и жена с больными почками, и у этого человека на столе лежала сводка по раскрываемости за ноябрь.

— Розыск оставим в производстве, — сказал Гусев. — Карточку заведём. Больше я тебе людей не дам. У меня восемь нераскрытых по городу, у меня в Кировском районе третью неделю чистят ларьки, а ты ходишь по общежитиям и меряешь шагами улицу. Мне Ларионов за это голову отвинтит, а я отвинчу тебе.

— Это пятая, — сказал Волченко.

Он услышал собственный голос со стороны — и не успел.

— Что?

— Пятая, — повторил он, потому что отступать было поздно, и потому что внутри поднялось то самое, что поднималось у него на совещаниях у генерала Дроздова, когда очередной умный человек объяснял, почему семь папок — это семь разных дел. — Пятая женщина за четыре года, Фёдор Степанович. Все приезжие. Все одинокие. Все без родни в городе. Все пропали между сменой и койкой. И у четверых из пяти перед этим были неприятности с пропиской.

Тишина в кабинете стала плотной.

Гусев смотрел на него, слегка приоткрыв рот, и в глазах у него не было ни злости, ни интереса. Там было другое — то, чего Волченко не ожидал. Оторопь.

— Ты что несёшь?

Думай. Быстро.

— Я в архиве сидел, — сказал Волченко, и голос у него поехал вниз, в извиняющуюся, мальчишескую интонацию, которую он надевал на себя третий месяц и которая уже сидела как разношенный сапог. — Дела за тридцать четвёртый — тридцать шестой. Пропажи без вести. Я их читал, чтоб по району разобраться. Там три — похожие. Я и подумал: может, одна шайка орудует. Баб заманивают и в Маньчжурию продают. Я слышал, бывает.

Он сам чувствовал, как это звучит. Как мальчишеская байка, вычитанная в «Вокруг света».

И Гусев выдохнул.

— Господи, — сказал он с настоящим облегчением. — В Маньчжурию. Начитался.

— Виноват.

— Сиди тихо и работай по своему розыску. — Гусев придвинул к себе бумаги. — И запомни, лейтенант: когда человек видит в пяти разных делах одно — это не ум. Это усталость. Я такое видел. Поспи.

Волченко вышел. В коридоре он прислонился плечом к стене и постоял секунд пять, не больше.

Усталость. Хорошо. Пусть будет усталость.

Он поднялся по лестнице, по которой в этом здании всё время кто-нибудь поднимался и спускался, и в кабинете сел за свой стол — за тот, что раньше стоял у окна, а теперь, после перестановки, оказался у двери. Второй стол, сёминский, стоял пустой. На нём не было ничего, кроме чернильницы без чернил и круглого пятна от кружки, которое не оттиралось.

Цой сидел на подоконнике и чинил карандаш ножом.

— Гусев кричал?

— Нет. Жалел.

— Хуже, — сказал Цой.

Он соскочил с подоконника, положил на стол Волченко сложенный вчетверо лист.

— Паспортный стол Центрального района. Отказы в прописке за тридцать седьмой год. Женщины, одинокие, приезжие.

Волченко развернул. Список был переписан от руки, карандашом, столбиком. Сорок две фамилии.

— Сорок две, — сказал он.

— Сорок две за год по одному району. По городу — за двести. — Цой сдул стружку с ножа. — Если твой человек выбирает из таких, у него выбор, как у кота в амбаре.

Это была правда, и правда была скверная.

Волченко провёл пальцем по столбику. Мартынова. Соколова. Обе здесь, обе с отметкой «отказано», обе с датой. Он искал глазами третью, четвёртую, пятую — и не находил, потому

что Лисицына, Савельева и Гордеева пропали до тридцать седьмого и в этот список попасть не могли.

Значит, нужны такие же списки за тридцать четвёртый, тридцать пятый, тридцать шестой. Три года, четыре района, одни и те же паспортисты, которые принимали заявления, писали отказы и ставили печати.

Он уже знал, что скажет Гусеву: проверяю по розыску Соколовой, товарищ майор, отрабатываю круг знакомств. Это было почти правдой. В этом времени он научился делать почти правду быстрее, чем выводить букву «ять», которой, слава богу, уже не было.

— Цой.

— А.

— Кто подписывает отказ?

— Начальник паспортного стола. — Цой подумал. — Или заместитель, если начальника нет.

— А кто может его отменить?

Цой перестал строгать карандаш.

— Отменить? Никто. — Он помолчал. — Вернее, кто угодно. Если позвонит с нужного телефона.

Волченко сложил лист и убрал во внутренний карман, к сердцу, как носят документы люди, которым есть что терять.

До вечера он просидел над домовыми книгами. Переписывал, сверял даты, выписывал фамилии паспортистов. В окне стемнело к четырём, и лампочка над столом горела вполнакала — на станции опять давали просадку.

Зина принесла чай. Поставила кружку на край стола, подальше от бумаг, и постояла, вытирая руки о передник, который надевала поверх платья, когда печатала под копирку.

— Товарищ лейтенант. У нас в субботу вечер в клубе. Самодеятельность. Будет «Платон Кречет», второй акт, и хор. — Она поправила очки. — Все идут.

— Я подумаю.

— Вы всегда думаете. — Зина не обиделась; она давно разговаривала с ним как с человеком, у которого есть уважительная причина, только она её не знает. — Вы хоть ешьте. Вы с утра ничего.

Она ушла. Чай был сладкий, с железным привкусом от кружки, и Волченко выпил его в три глотка, не почувствовав.

В начале седьмого в дверь сунулся дежурный — старшина Мухин, с красным от мороза носом и ключами на поясе.

— Товарищ лейтенант. Вам.

— Что?

— Звонили. — Мухин почему-то понизил голос. — С Пушкинской. Велено вам прибыть. Сегодня, к восьми.

Волченко отложил перо.

— Кто велел?

— Капитан государственной безопасности Корнеев, — сказал Мухин и зачем-то вытянулся, хотя в кабинете, кроме них, никого не было.

# Глава 2

Часовой на Пушкинской посмотрел не в лицо, а на руки.

Волченко это отметил — и одобрил. Правильно учат. Лицо можно сделать какое угодно, а руки у человека, который пришёл с бедой, и у человека, который пришёл с ножом, ведут себя по-разному.

— Волченко. К капитану государственной безопасности Корнееву. На восемь.

Часовой сверился со списком на планшете — водил пальцем, шевеля губами, — нашёл, кивнул и ткнул карандашом в сторону стеклянной двери.

— Второй этаж, налево, кабинет двадцать один. Шинель внизу.

Вестибюль здесь был другой, чем в управлении милиции. Там — крашеные доски, запах мокрых сапог, дежурный с чайником. Здесь — каменный пол в чёрно-белую шашку, высокий потолок, два фикуса в кадках, чистых, политых. И тишина — такая, в которой собственные шаги кажутся громче, чем надо.

Слева от лестницы, на длинной скамье, сидели женщины. Четыре. У каждой на коленях — узел или кошёлка. Одна держала авоську с валенками и всё время переставляла её с колена на колено, точно валенки могли остыть. Ни одна не разговаривала. Они сидели так, как сидят в очереди, которая стоит здесь не первый день и будет стоять завтра.

Волченко прошёл мимо, глядя перед собой. На середине вестибюля его догнал голос:

— Товарищ начальник.

Он обернулся. Поднялась та, что с валенками, — лет пятидесяти, в пальто с чужого плеча, подпоясанном бечёвкой.

— Я не начальник, — сказал Волченко. — Я из милиции.

— Всё равно. — Она сделала полшага и остановилась, не подходя ближе, чем положено. — Вы туда идёте. Спросите у них, можно ли передать. Валенки. Он в чём забрали, в том и сидит, а у него ноги больные, он на сплаве стоял в воде четыре года.

— Кто он вам?

— Муж. Третьякевич Антон. С девятого ноября.

— Я спрошу, — сказал Волченко.

Он знал, что не спросит. Не потому, что боялся, — потому что знал ответ и знал, что ответ ничего не изменит в этой женщине, кроме того, что она перестанет приходить.

Она посмотрела на него и села обратно, переставив авоську с колена на колено.

На втором этаже пахло мастикой и бумагой. Двадцать первый кабинет был в конце коридора, под лампой, и дверь у него была обита новым дерматином — чёрным, без единой трещины.

— Войдите.

Корнеев писал. Он не поднял головы сразу, и это не было приёмом — он дописывал фразу, и в том, как он её дописывал, читалось: фраза важнее вошедшего ровно на шесть секунд. Потом он промокнул строку, завинтил чернильницу и встал.

— Михаил Андреевич. Садитесь.

Кабинет был маленький и до неприличия опрятный. Стол, два стула, шкаф, сейф в углу, графин с водой на подоконнике, накрытый перевёрнутым стаканом. На стене — портрет, календарь с оторванными до сегодняшнего числа листками и больше ничего. Ни карты, ни плаката, ни грамоты.

И запах: одеколон и сушёное яблоко. На краю стола лежал надорванный бумажный кулёк, и Корнеев, не отвлекаясь от разговора, время от времени отправлял в рот прозрачную дольку. Язва, объяснил он как-то раз Сёмину. Врачи велели заменить папиросы.

— Чаю не предлагаю, — сказал Корнеев, садясь. — У нас внизу титан сломался третий день. Слесаря ждём с понедельника, а он, видимо, строит социализм в другом месте.

Волченко улыбнулся — настолько, насколько улыбнулся бы лейтенант, над которым пошутил начальник.

— Как вам без Сёмина? — спросил Корнеев.

— Пусто.

— Это хорошо, что вы говорите «пусто», а не «свободнее». — Корнеев сложил руки на столе, одна в другую. Ногти у него были подстрижены коротко и ровно, до одинаковой длины на каждом пальце, и Волченко каждый раз на них смотрел. — Он прислал оттуда рапорт. С жалобой на жильё. Комсомольск сейчас — это бараки и грязь по колено, но он держится. Пишет, что бросил пить.

— Он писал мне.

— Я знаю. — Корнеев сказал это без нажима, как говорят о погоде. — Теперь по делу. Я вас вызвал не для разговора о Сёмине.

Он выдвинул верхний ящик стола и достал тонкую папку — не казённую, картонную, а самодельную, из сложенного пополам листа ватмана.

— Соколова Зоя Петровна.

Волченко не двинулся.

— Это дело угрозыска, товарищ капитан.

— Это дело угрозыска, — согласился Корнеев. — Я не забираю. Я спрашиваю. Вы тринадцать дней ходите по одной и той же улице. Я хотел понять, зачем.

— Проверяю маршрут.

— Проверили?

— Сорок минут от проходной до общежития. На двухстах метрах нет освещения. Свидетелей нет. Вещи остались в комнате, включая зимнее пальто.

— Пальто, — повторил Корнеев и чуть наклонил голову. — Да. Пальто — это серьёзно. Гусев полагает, что она уехала?

— Полагает.

— Гусев — человек, которому удобно, когда уехали. — Корнеев раскрыл свою папку, но смотреть в неё не стал. — Скажите мне вот что. Если допустить, что её убили. Кто?

— У меня нет версии.

— У вас есть версия, — спокойно сказал Корнеев. — У вас всегда есть версия, Михаил Андреевич, просто вы её не сразу выкладываете. Это хорошее качество. Выложите.

За окном, во дворе, завёлся автомобиль — долго, с надрывом, с третьей попытки. Волченко слушал этот звук и думал о двух вещах. Первая: отказываться нельзя, отказ — это тоже ответ. Вторая: давать нужно столько, сколько мог бы собрать за тринадцать дней двадцатипятилетний лейтенант, не глупый, старательный, но без чужих пятидесяти пяти лет за спиной.

— Её кто-то ждал, — сказал он. — Она шла не домой.

— Почему?

— Потому что она взяла с собой паспорт и справку с места работы. На смену с такими бумагами не ходят. С такими бумагами ходят в учреждение. Или к человеку, который обещал отнести их в учреждение.

Корнеев слушал, не перебивая.

— Ей дважды отказали в прописке, — сказал он.

Волченко кивнул. Про отказы он узнал вчера от Вали Пименовой, а сегодня утром Цой принёс из паспортного стола список — и, значит, в паспортном столе уже знали, что угрозыск спрашивает про Соколову.

— Откуда у вас? — спросил он.

— Из паспортного стола, — сказал Корнеев. — Мне не нужно писать запрос и ждать три дня. Мне достаточно снять трубку.

Логично. Человек в петлицах капитана госбезопасности снимает трубку, и паспортный стол Центрального района отвечает ему в ту же минуту. Так это работает здесь, в его времени, в любом времени. Волченко сам сто раз снимал такую трубку.

— Я к этому и веду, — продолжал Корнеев. — Вы ищете человека, который обещал ей помочь с пропиской. Я правильно понимаю?

— Правильно.

— Тогда вы ищете не влюблённого слесаря. Вы ищете человека, который имеет к прописке отношение — или умеет убедительно делать вид. — Корнеев наконец опустил глаза в свою папку. — Кисляков Аркадий Фомич. Паспортный стол Центрального района, старший инспектор. Сорок три года. Женат, двое детей, живёт на Шевченко.

Волченко достал блокнот. Корнеев проследил за этим движением и не возразил.

— Что за ним?

— Официально — ничего. Взысканий нет, партийный. — Корнеев перевернул листок. — Неофициально: четвёртый год к нам идут заявления. Женщины. Приезжие. Пишут, что гражданин Кисляков обещал содействие в прописке, назначал встречи вне учреждения, в одном случае — на квартире у знакомых. Две жалобы — с намёком на домогательство, одна — прямым текстом. Все три заявительницы потом забрали свои слова обратно.

— Почему?

— Потому что женщина, у которой нет прописки, очень быстро понимает, с кем она поссорилась. — Корнеев закрыл папку. — Ему не дали хода. Сначала потому, что не было состава, потом потому, что начальник паспортного стола — его свояк. Дело чисто ваше, милицейское. Берите.

Волченко записывал. Фамилия, инициалы, должность, адрес. Рука шла быстро.

И всё это время в голове у него стучало одно: слишком гладко.

Он знал цену такому подарку. Его приносили ему в кабинет раз двадцать за тридцать лет — аккуратную, вкусно пахнущую версию, разложенную по тарелкам, с указанием фамилии и адреса. Иногда это было добросовестно. Иногда это было способом занять следствие на полгода, пока настоящий человек заканчивает свои дела.

Но версия была хорошая. Вот что скверно. Версия была именно такая, какую он построил бы сам.

— Товарищ капитан. — Он поднял голову. — Зачем вы мне это даёте?

Корнеев посмотрел на него с интересом.

— Вы всегда спрашиваете «зачем»?

— Я спрашиваю, чтобы понимать, что мне делать с ответом.

— Хорошо сказано. — Корнеев встал, прошёл к окну, отодвинул занавеску на два пальца и посмотрел во двор, где всё ещё надрывался автомобиль. — Я вам объясню. В крае сейчас очень много работы. Очень. У меня восемь следователей, и шестеро из них заняты тем, чем положено. Милиция перегружена, Гусев бережёт раскрываемость, и всё, что не даёт раскрываемости, тихо умирает в картотеке. А я не люблю, когда дело умирает, потому что никто не захотел им заняться.

Он опустил занавеску.

— Мне нужен человек в угрозыске, который доводит до конца. Я это уже говорил вам в сентябре. Я не меняю мнений так быстро.

— Я лейтенант, третий месяц на службе.

— Вы опознали Лаптева по шагам, — сказал Корнеев. — Через четыре захода, с ширмой, с защитником, который искал, к чему придраться, и не нашла. Я читал протокол трижды. Третий раз — для удовольствия.

Волченко промолчал.

— Одно условие, — сказал Корнеев и сел обратно. — По Кислякову вы докладываете мне. Не Гусеву. Гусев побежит советоваться, а в этом городе всякое совещание кончается тем, что человек, о котором совещались, узнаёт об этом раньше всех.

— А если найду что-то серьёзное?

— Тогда тем более мне. — Корнеев улыбнулся. — И, Михаил Андреевич. Вы умный человек, поэтому я скажу прямо, чтобы между нами не было тумана. У меня в сейфе лежит рапорт часового от двадцать второго сентября. Про троих, которые ночью стояли у ворот в переулке и смотрели на чужие ворота. Я его не подшил. Он лежит отдельно.

— Я помню, товарищ капитан.

— Я знаю, что помните. Я не угрожаю, я объясняю расстановку. — Он взял перо, повертел его и положил. — Вы мне полезны, а я вам удобен. Пока эти два обстоятельства совпадают, нам обоим хорошо.

Это была честная формулировка. Настолько честная, что Волченко на секунду почувствовал к Корнееву что-то похожее на благодарность, — и тут же отодвинул это чувство подальше, как отодвигают стакан на краю стола.

— Разрешите вопрос?

— Разрешаю.

— Если Кисляков — не он. Что тогда?

— Тогда вы придёте и скажете: Алексей Павлович, Кисляков — не он. — Корнеев пожал плечами. — Я не влюблён в свои версии. Я их просто расставляю.

Волченко закрыл блокнот.

И тут же — сам не понял, как, — сказал:

— Он не остановится.

Пауза вышла короткая. Во дворе наконец завёлся мотор и ушёл за угол, и в наступившей тишине собственные слова прозвучали отчётливо, вторым голосом.

— Кто? — спросил Корнеев.

— Тот, кто её взял. — Волченко слышал себя и не мог остановиться сразу — так бывает, когда нога уже оторвалась от земли. — Он не остановится, товарищ капитан. Человек, который один раз так сделал и у которого получилось, через какое-то время сделает это опять. И промежутки будут короче.

— Промежутки, — повторил Корнеев.

Он смотрел на Волченко внимательно, с чуть приподнятым подбородком. Без улыбки.

— Вы говорите так, будто знаете его.

Вот.

Вот оно, подумал Волченко. Третий месяц, второй крупный раз. Сначала «контроль» на комиссии, потом «мероприятие» при Гусеве, теперь это. Язык, тридцать лет работавший без хозяина, опять вышел вперёд.

— Не знаю. — Он опустил глаза и потёр ладонью затылок — жест, который он ввёл в обиход специально, под себя, и которым пользовался как запасным выходом. — Я в школе читал… нам давали из иностранного. Про душителей в Лондоне, в прошлом веке. Там писали, что такие делают всё чаще, пока их не возьмут. Я и подумал — вдруг и тут.

— Лондон. В Иркутской школе милиции читают про Лондон?

— Не по программе. У преподавателя была книжка.

— У вас был очень полезный преподаватель, Михаил Андреевич.

— Был, товарищ капитан.

Корнеев кивнул — медленно, один раз. Потом сделал то, чего Волченко не ждал: пододвинул к нему свою самодельную папку.

— Возьмите. Там выписки по трём заявлениям на Кислякова. Фамилии заявительниц, адреса на момент подачи. Двух, думаю, уже не найдёте. Третью, может быть.

— Спасибо.

— Не за что. — Корнеев встал, показывая, что разговор окончен. — Докладывайте раз в неделю. Если срочно — через дежурного, скажете, что по моему поручению, вас соединят.

У двери Волченко остановился.

— Товарищ капитан. Ещё одно.

— Да?

— К Соколовой через неделю после пропажи приходил человек в штатском. Показал удостоверение, спрашивал, не оставила ли она бумаг. Соседка не разобрала, что за удостоверение, и лица не запомнила. — Волченко выдержал паузу в полвдоха. — Это был не угрозыск. Может быть, ваши?

Корнеев не изменился в лице.

— Может быть, — сказал он. — Я проверю по журналу выездов. Если наш — скажу.

— Благодарю.

— Не за что. Идите, холодно.

В коридоре Волченко шёл не быстро. Прошёл мимо двери, из-за которой кто-то диктовал — монотонно, с паузами, как диктуют машинистке. Прошёл мимо приоткрытого кабинета, где на стуле сидел человек в пиджаке с оторванным рукавом и смотрел в пол.

На лестнице он чуть не столкнулся с женщиной — той, что сидела внизу с валенками в авоське. Она поднималась, прижимая авоську к животу, и уступила ему дорогу прежде, чем он успел уступить ей. Отступила к перилам и опустила голову.

— Проходите, — сказал он.

Она не двинулась, пока он не прошёл.

Шинель ему вернул гардеробщик — старик с орденской планкой на пиджаке, без слов, только номерок на ладони. Перед выходом Волченко задержался у стола дежурного, где лежал журнал посещений, раскрытый на сегодняшнем числе. Его фамилия стояла одиннадцатой с конца: «Волченко М. А., к т. Корнееву, 20.00, вых. 20.55». Выше — три фамилии подряд, и в графе «к кому» у всех трёх одно слово: «в приёмную». В графе «вых.» у всех трёх было пусто.

Он положил журнал на место, как лежал, и вышел.

На улице стоял мороз и такая ясность, что звёзды висели над крышами крупно и низко. От дыхания слипались ноздри. Волченко натянул шапку ниже и пошёл вниз, к Карла Маркса, мимо заколоченного по зиме газетного киоска, мимо афиши, на которой клеем держалась одна буква из слова «концерт».

Он шёл и раскладывал.

Первое. Версия хорошая. Кислякова надо отрабатывать всерьёз, без скидок на то, кто её принёс. Если он чист — это снимет с доски целую категорию, и доска станет меньше. Если нет — дело раскроется, и всё, что Волченко напридумывал за три месяца, окажется бредом уставшего человека, как и сказал Гусев.

Второе. Корнеев дал ему поводок и назвал его поводком. В этом времени так не делают. В этом времени человека берут за горло молча. Значит, Корнееву нужно не послушание. Ему нужен работающий инструмент, который сам понимает, где кончается длина цепи.

Третье. Человек в штатском, который приходил в комнату девять через неделю после пропажи.

Он остановился под фонарём и вынул руки из карманов.

Корнеев обещал проверить по журналу выездов. Если ответ будет «наш» — значит, органы шли по её следу раньше угрозыска, и это объясняло бы многое, в том числе то, как быстро в паспортном столе узнают, о чём спрашивает милиция. Если «не наш» — значит, в

городе кто-то ходит по общежитиям с чужим удостоверением и просит не рассказывать лишнего.

Оба варианта были неприятны, и Волченко не знал, какой хуже.

Он постоял ещё немного. Потом пошёл. Записал в блокнот одно слово — «журнал» — и подчеркнул. Через неделю он спросит.

До общежития пекарни он дошёл в половине десятого. На перилах крыльца висела та самая красная варежка с белым оленем. Волченко постоял, отковырнул её от обледенелого дерева, отряхнул и повесил на гвоздь у двери, где её было видно от самого входа.

Потом пошёл к себе в общежитие и сел писать рапорт по Кислякову.

# Глава 3

Кисляков оказался точно таким, каким его описали, и это было хуже всего.

Волченко отработал его за девятнадцать дней. Без спешки, по школьному: наружное наблюдение силами одного Цоя, опрос соседей под видом проверки домовой книги, выписка из журнала приёма граждан, разговор с уборщицей паспортного стола, которая мыла полы в коридоре и за восемь лет видела всё.

Картина вышла мерзкая и ясная.

Аркадий Фомич Кисляков, сорока трёх лет, старший инспектор, партийный с двадцать девятого года, принимал граждан по вторникам и четвергам с двух до шести. Женщин он принимал последними. Если заявительница была приезжая, одинокая и без ходатайства с места работы, Кисляков говорил ей, что случай сложный, но «попробуем», и назначал прийти ещё раз. На третий раз он предлагал поговорить не в учреждении.

Квартира знакомых была на Фрунзе, во дворе, вход со двора. Хозяйка — сестра его жены, уезжавшая по вторникам к своей родне.

— Три штуки, — сказал Цой, когда они стояли в подворотне напротив и смотрели, как Кисляков в сером пальто и каракулевой шапке пирожком входит в подъезд. — Три за ноябрь. Я записал дни.

— Доказать сможем?

— Не докажем. Они не придут. — Цой подышал в кулак. — Он им прописку делает. Правда делает, в этом вся штука. Он не обманывает.

Это и была самая гнусная часть. Кисляков держал слово. Заявительницы получали штамп, Кисляков получал своё, и обе стороны расходились с тем, что считали сделкой.

Волченко стоял в подворотне, смотрел на жёлтое окно во втором этаже и думал, что в его времени за такое давали до шести лет, а здесь не было даже статьи, в которую это укладывалось без натяжки. Злоупотребление служебным положением — да. Но заявления нет, потерпевшей нет, а без потерпевшей это всего лишь слухи про чужую постель.

— Пошли, — сказал он.

— Брать?

— Нет. Спрашивать.

Он взял Кислякова в среду, в паспортном столе, при свидетелях — то есть при Цое и при машинистке, которая сидела за перегородкой и делала вид, что печатает. Так было правильнее: человек, которого спрашивают в его собственном кабинете, врёт меньше, чем человек, которого привезли.

— Одиннадцатое ноября, вечер. Где вы были?

Кисляков моргнул. У него было круглое лицо с мягким подбородком и аккуратные усики, и сидел он прямо, положив руки на стол, как положено сидеть, когда пришла милиция.

— Я не помню.

— Вспомните.

— Товарищ лейтенант, у меня приём, у меня план… Одиннадцатое — это четверг?

— Четверг.

Кисляков полез в настольный календарь, перелистнул, нашёл. И покраснел — не пятнами, а разом, всем лицом, до ушей.

— Я… — Он посмотрел на перегородку, за которой сидела машинистка. — Можно, я напишу?

— Пишите.

Он взял листок, написал три слова и подвинул через стол.

Волченко прочёл: «В вытрезвителе. Простите».

Он поднял глаза. Кисляков смотрел в стол.

— С какого часа?

— С восьми. Меня постовой взял на Карла Маркса, у «Гастронома». — Голос у него упал до шёпота. — Мы с мужиками… именины у товарища были. Я дошёл до угла и сел в сугроб. Выпустили в семь утра, штраф, сообщение на работу. Я начальнику две недели в ноги кланялся, чтобы он бумагу придержал. Он придержал. Если вы сейчас…

— Пятнадцатое августа, — перебил Волченко.

— Что?

— Где вы были пятнадцатого августа?

Кисляков уже ничего не понимал. Он смотрел снизу вверх, с несчастным, оплывшим лицом человека, который готовился к одному разговору, а попал в другой.

— В отпуске. В Благовещенске, у тёщи. С первого по двадцать восьмое. Отпускное удостоверение в кадрах, можете проверить.

Проверили. Всё подтвердилось — и вытрезвитель, с записью в журнале и фамилией постового, и отпуск, с отметками о выезде и прибытии, и ещё даты, которые Волченко назвать вслух не мог и проверял косвенно, через те же кадры.

Чист. По тому, что искал Волченко, — чист, как стёклышко. По всему остальному — грязен, но не по его части.

Материал по Кислякову он отнёс в ОБХСС сам, в соседнее крыло, на третий этаж.

Принимал Морозов — тот самый рыжебровый Витька Морозов с крыльца общежития, который в сентябре стоял рядом с ним в коридоре перед распределительной комиссией и спрашивал, строгий ли был преподаватель Кравченко. За четыре месяца Морозов раздался в плечах, отпустил усы — неудачно, рыжие и редкие — и научился сидеть за столом, как за собственным.

— О! — сказал он. — Волчара.

— Не начинай.

— А чего? Про тебя дежурные легенды рассказывают. — Морозов отодвинул стакан с карандашами, взял папку, полистал. Лицо у него менялось по мере чтения: сперва ухмылка, потом брезгливость, потом усталость. — Прописка за это самое. Третий такой за зиму.

— Третий?

— Есть ещё двое. Один из жилотдела, другой с железной дороги, по общежитиям. — Морозов захлопнул папку. — Дадут ему строгача и переведут в район. Нечего тут сажать, сам знаешь.

— Знаю.

— Чего тогда принёс?

— Чтобы лежало, — сказал Волченко.

Морозов посмотрел на него, пожевал губами и пододвинул к себе чернильницу.

— Распишись, что сдал.

В субботу он написал короткую записку и отправил на Пушкинскую через дежурного: «Кисляков А. Ф. к розыску Соколовой непричастен. Алиби на 11.11 — вытрезвитель, протокол №318. По линии служебных злоупотреблений материал передан в ОБХСС». Ответа не пришло. В понедельник дежурный передал устно: «Капитан благодарит».

Корнеев не выглядел ни разочарованным, ни довольным. Он просто вычеркнул строчку.

Тридцать седьмой год кончался.

В ночь на первое января в общежитии пили, пели и дрались в коридоре второго этажа — коротко, без увечий, из-за того, чья очередь топить. Волченко лежал на койке, слушал и думал о том, что в это самое время его собственное тело лежит в реанимации и что у реанимации нет ни нового года, ни старого.

Радиоточка на стене хрипела «Утро красит нежным светом», потом бой курантов — по московскому, в семь утра по-хабаровски, потому что никто не придумал, как иначе. Рябов, сосед, плакал пьяными слезами о какой-то Люсе из Читы.

Ордер на комнату Волченко получил восьмого января.

Он не просил. Бумага пришла сама, через Зину, вместе с годовой премией в сто пятьдесят рублей и отпечатанным на машинке списком: кому что положено за тридцать седьмой год. Против его фамилии стояло: «Волченко М. А., лейтенант милиции — жилплощадь 9 кв. м, ул. Запарина, 24, кв. 5, комната 3».

— Это за Лаптева, — сказала Зина, отдавая ордер. — Фёдор Степанович в ноябре подавал. Он на вас злится, а бумагу подал.

— Он странный человек.

— Он нормальный человек, — сказала Зина. — Просто ему страшно и стыдно одновременно. Это многих портит.

Комната была угловая, с одним окном и печкой, которая топилась из коридора. Девять метров: железная кровать, стол, табурет, полка на стене и крюк в потолке, оставшийся от люльки. Соседей — три двери: вдова-телефонистка с дочкой, старик-переплётчик и семья машиниста, который бывал дома раз в неделю.

В первый вечер Волченко сидел на табурете и слушал.

Из коридора доносился примус. За стеной девочка учила вслух стихотворение, спотыкаясь на одном и том же месте. Где-то капала вода — медленно, с промежутком секунд в пять, и он поймал себя на том, что считает промежутки.

Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Кап.

Ровно. Слишком ровно.

Он встал и пошёл на кухню, нашёл кран, закрутил до упора. Вернулся. Капать перестало, и в тишине стало слышно, как у соседей бормочет репродуктор.

Он сел на кровать, положил руки на колени и просидел так минут десять, глядя в стену, — впервые за четыре месяца один, за своей дверью, с ключом в кармане.

Четыре месяца. В реанимации — четыре месяца. Если врач не соврал про три, то окно, о котором он говорил, уже закрылось.

Волченко встал, достал из вещмешка блокнот и сел писать список.

Со стариком-переплётчиком он познакомился на третий день, на кухне, над примусом.

Звали его Савелий Игнатьевич Дрозд, было ему под семьдесят, и работал он в мастерской при краевой библиотеке — подшивал газеты в годовые комплекты, чинил корешки, клеил карты. Руки у него были в коричневых пятнах от клея и в мелких порезах, которые не заживали.

— Вы, молодой человек, воду в чайник до верху не наливайте, — сказал он вместо приветствия. — Он у нас течёт по шву. Нальёте — зальёте примус, а керосин нынче по талону.

— Учту.

— И дверь свою на ночь на засов не запирайте. Запрёте — мы вас не вытащим, если что.

— Если что — это пожар?

— Это что угодно, — сказал Дрозд.

Он варил себе кисель, помешивая деревянной ложкой, и разговаривал так же: не торопясь и не заботясь, слушают ли его. Через неделю Волченко знал, что у Дрозда была своя переплётная на Муравьёва-Амурской до двадцать первого года, что сын живёт в Свердловске и не пишет и что настоящая бумага кончилась в мире году в двенадцатом, а то, на чём печатают сейчас, — «прессованная солома с амбициями».

— Савелий Игнатьевич. А вы по почерку человека различаете?

Старик не вынул ложку из кастрюли.

— По почерку — нет. По руке — да.

— Это разное?

— Это совсем разное. — Дрозд посмотрел на него поверх очков. — Почерк человек меняет, когда захочет. Руку не меняет никто. Нажим, наклон, где перо отрывает, где не отрывает, как ведёт петлю. Я сорок лет подшиваю чужие бумаги, молодой человек. Я своего директора по одной букве «д» узнаю, хоть он мне лист вверх ногами подай.

Волченко помешал в кружке и ничего не ответил.

В январе он взялся за архив всерьёз.

Повод был законный и даже похвальный: карточка розыска по Соколовой висела непрекращённой, а в дело о розыске положено приобщать всё, что относится к обстоятельствам. Волченко написал рапорт — на полстраницы, казённым языком, — о необходимости изучения прекращённых розыскных дел за тридцать четвёртый — тридцать шестой годы «в целях установления сходных обстоятельств исчезновения». Гусев подмахнул не читая. Он теперь подмахивал Волченко всё, что не касалось денег и личного состава: ему было проще подписать, чем разговаривать.

Подвал за зиму не изменился. Та же сырость, та же лампочка вполнакала, тот же крысиный шорох в дальнем углу. Прибавилась только изморозь по нижнему ряду стеллажей у наружной стены — и Волченко, поднимая папки, каждый раз обдирал пальцы о заиндевелый картон.

Он работал по вечерам, после службы, по два-три часа, пока не начинало сводить руки.

И на четвёртый вечер нашёл то, чего не искал.

Это было не дело. Это была папка с перепиской — подшивка исходящих и входящих по отделению за тридцать шестой год, толстая, растрёпанная, с оборванными завязками. Такие подшивки не трогают годами: в них лежат запросы о командировочных, акты списания бланков, циркуляры о противопожарном состоянии.

Между актом о списании двухсот бланков протоколов и циркуляром о хранении служебного оружия лежал лист.

«Начальнику Управления рабоче-крестьянской милиции НКВД по Дальневосточному краю. Рапорт.

Докладываю, что за период 1934–1936 гг. на территории вверенного мне участка Центрального района гор. Хабаровска имели место три случая безвестного исчезновения гражданок: Лисицыной М. Ф., 1908 г. р., Савельевой Н. Д., 1912 г. р., Гордеевой А. И., 1907 г. р. Все указанные гражданки являлись одинокими, прибывшими из других местностей, родственных связей в гор. Хабаровске не имели. Личные вещи и документы оставлены по месту жительства. Признаков добровольного выезда не установлено.

Полагаю, что указанные случаи имеют между собой сходство, в связи с чем прошу вашего указания о производстве объединённой проверки.

Участковый уполномоченный Центрального района
старшина милиции Нефёдов Г. И.
4 сентября 1936 г.»

Волченко прочитал два раза. Потом сел на табурет и прочитал третий.

Почерк был неровный, с нажимом, буквы падали вправо. Человек писал долго и трудно, подбирая слова: в двух местах зачёркнуто и надписано сверху. «Сходство» — надписано поверх вымаранного. Волченко поднёс лист к лампочке и разобрал, что под чернильной полосой стояло другое слово, длиннее. «Одинаковый почерк».

Нефёдов написал «одинаковый почерк». Потом подумал и зачеркнул.

Он знал, что делает. Он убрал слово, за которое в тридцать шестом могли спросить, — и оставил рапорт, за который спросить было нельзя.

Внизу листа, наискось, через весь нижний край, чужой рукой было написано:

«Оснований для объединённой проверки не усматривается. Считать утратившими розыскное значение. Исполнено».

Дата — 11 сентября 1936 года. Подпись — закорючка. Не фамилия, не инициалы: петля, перечёркнутая палочкой, и короткий росчерк вниз. Рядом — круглый штамп, смазанный, где читалось только «…кого края».

Волченко сидел и смотрел на резолюцию.

Он вспомнил набережную, ветер с Амура, Сёмина в ватнике и его голос, идущий в сторону воды: «Я пишу рапорт в край — мне отвечают: считать утратившими розыскное значение. Печать круглая, подпись — закорючка. Кто — не помню, да и тогда не разобрал».

Вот она. Семь дней. Рапорт ушёл четвёртого сентября, ответ лёг одиннадцатого.

Семь дней — для краевого управления милиции тридцать шестого года это немыслимая скорость. Обычная бумага ходила туда и обратно по три недели. На эту кто-то посмотрел сразу.

Волченко достал лупу — маленькую, в медной оправе, подарок Горшкова из скобяной лавки, старик всучил её осенью «за науку» и не взял денег, — и поднёс к резолюции.

Почерк был мелкий. Очень мелкий, и очень ровный, и очень быстрый: человек писал, не отрывая пера, соединяя слова, и при этом ни одна буква не вышла за строку, которой не было.

Он смотрел на эти четыре строчки долго.

Писал человек, привыкший писать много и быстро. Писарь? Чиновник краевого управления, у которого таких резолюций по сорок в день? Это ничего не сужало: в управлении так писали все, у кого рука набита.

Волченко опустил лупу и потёр глаза.

Он переписал резолюцию в блокнот — слово в слово, с наклоном, стараясь повторить соединения. Потом подумал и перерисовал закорючку: петля, палочка, росчерк вниз. Вышло похоже и совершенно бесполезно.

Экспертиза почерка — вещь реальная. В ноябре Кравцова добилась её по записке Шмелёва, и краевой суд назначал специалиста, и специалист дал заключение на двух страницах. Значит, процедура существует.

И значит, чтобы ею воспользоваться, нужны образцы.

Волченко сидел в подвале, грел ладони о лампочку и прикидывал, как это выглядит на бумаге. «Прошу назначить почерковедческую экспертизу резолюции неустановленного должностного лица краевого управления милиции от 11 сентября 1936 года. Для сравнения прошу истребовать образцы почерка сотрудников…»

Каких сотрудников? Всех? Краевого управления?

Он представил себе лицо Лукина, когда тот прочтёт такую бумагу. Потом представил лицо Гусева. Потом — лицо Корнеева, которому об этом доложат в тот же день, потому что такие вещи в этом городе доходят до нужных ушей раньше, чем высохнут чернила.

Законного пути не было. Был другой — медленный, грязный и совершенно безопасный: собирать. Любая бумага, прошедшая через краевое управление, несёт на себе чью-то руку. Резолюции, визы, пометки на полях, «доложить», «исполнить», «в дело». Циркуляры, которые Зина подшивает каждую неделю. Отношения, которые приходят на имя Гусева.

Сто бумаг. Двести. Рано или поздно та же петля с палочкой ляжет на лист рядом с фамилией.

Он убрал подшивку на место — туда, откуда взял, между актом о бланках и циркуляром об оружии. Рапорт Нефёдова оставил внутри. Выносить было нельзя: единственный способ потерять документ — это начать его беречь.

Перед тем как уйти, он взял журнал исходящих за тридцать шестой год и нашёл одиннадцатое сентября.

Записей в тот день было три.

Первая — ответ на рапорт Нефёдова. Вторая — отношение о выделении горючего.

Третья стояла последней строкой, и писал её другой писарь, помельче:

«Отношение №4417/с. В краевое управление. Истребовано личное дело участкового уполномоченного Центрального района старшины милиции Нефёдова Г. И.»

Волченко поставил палец на строку и не убирал его с минуту.

Четвёртого сентября Нефёдов написал, что три женщины исчезли одинаково.

Одиннадцатого сентября ему ответили, что оснований нет, и в тот же день, тем же числом, из краевого управления затребовали его личное дело.

Двенадцатого декабря тридцать шестого года старшина милиции Нефёдов Григорий Иванович поставил дома чайник и умер на кухне от сердца.

# Глава 4

— Ставлю трёшку: через месяц запросится обратно в прокуратуру.

Паршин сказал это громко, на весь коридор, и сам же засмеялся. Он стоял у бачка с водой, в расстёгнутой гимнастёрке, с кружкой на цепочке в руке, — оперуполномоченный Паршин Михаил Егорович, тридцать четыре года, плечи как у грузчика, ума примерно столько же, но ноги, глаза и кулаки работали исправно, и на выездах он был незаменим.

— Трёшку, — повторил он. — Кто против?

— Я против, — сказал Цой.

— Ты? — Паршин повернулся. — Ты-то с чего?

— С того, что мне трёшка нужна.

Волченко прошёл мимо, не останавливаясь. В кабинете он снял шинель, повесил, сел и придвинул чернильницу. За перегородкой стучала машинка — Зина печатала сводку за неделю, и по тому, как она стучала, слышно было, что она тоже всё слышит.

Гусев привёл её в десять.

Вошёл первым, придержал дверь — чего не делал ни для кого, включая Ларионова, — и сказал в кабинет, ни к кому конкретно:

— Знакомьтесь. Белова Елена Романовна, лейтенант милиции. Переведена к нам из краевой прокуратуры, из следственной части. Будет работать по линии уголовного розыска.

Она вошла и остановилась у порога.

Невысокая, в форме, подогнанной по фигуре — не по-казённому, а у портного, и это сразу было видно. Волосы тёмные, убраны под фуражку. Лицо без румянца, с прямыми бровями и тяжеловатым подбородком. Лет тридцать с небольшим. Держалась она спокойно, но спокойно так, как держится человек, который заранее решил, что бы ни случилось, стоять прямо.

Паршин кашлянул в кулак. Кашель получился похожим на слово.

Зина перестала печатать.

— Стол ваш — вон тот, — сказал Гусев. — У окна.

Это был стол Сёмина. Он простоял пустой четыре месяца: чернильница без чернил, круглое пятно от кружки, которое не оттиралось, и одна кнопка, забитая в столешницу у левого угла, — на ней когда-то держался листок с телефонами.

Белова посмотрела на стол. Потом на Гусева.

— Благодарю, товарищ майор.

— Дела вам даст Волченко. — Гусев кивнул в его сторону, не глядя. — Он тут за старшего по бумагам. Волченко, введи.

И вышел.

Повисла та особенная тишина, которая возникает, когда четверо мужчин одновременно решают, как себя вести.

Волченко встал и подошёл.

— Волченко Михаил Андреевич. — Он протянул руку.

Она посмотрела на руку. Короткую секунду — так смотрят на предмет, назначения которого не понимают. Потом пожала. Пожатие было сухое и твёрдое.

— Очень приятно.

— Оперуполномоченный Цой Леонид. Оперуполномоченный Паршин.

Цой кивнул. Паршин сделал движение корпусом, которое при желании можно было счесть поклоном.

— Елена Романовна, — сказал он. — А вы, извиняюсь, из каких Беловых будете? Не Романа Белова дочка?

Белова повернула голову.

— Дочь.

Паршин поставил кружку.

— Ну, — сказал он уже другим голосом. — Это другое дело.

И отошёл к своему столу.

Волченко посмотрел на Цоя. Тот чуть качнул головой: потом.

Потом — это вышло в обед, у окна в коридоре, где курили.

— Белов Роман Романович, — сказал Цой, не поворачиваясь. — Старший инспектор угрозыска. Тридцать первый год, Кировский район, брали шайку на складе Дальгосторга. Он пошёл первым, как положено. Ему дали из обреза в живот, он ещё двоих удержал, пока наши не подошли. Умер в больнице через сутки.

— Ты его знал?

— Я его не знал. Я тогда на почте работал. — Цой смотрел во двор. — Но у нас в управлении его доска висела до тридцать шестого, у лестницы. Потом сняли. Не из-за него — ремонт был, доску не повесили обратно.

— А её кто-нибудь знает?

— Паршин знает. Паршин в тридцать первом был на том складе, во второй группе. — Цой стряхнул пепел в жестянку. — Он тогда три дня не разговаривал. Мне Зина рассказывала.

— Зина всем всё рассказывает.

— Зина никому ничего не рассказывает, — сказал Цой. — Она рассказывает тем, кому надо. Это разное.

Волченко докурил и затушил папиросу о жестянку, прибитую к подоконнику.

Три месяца в прокуратуре он проработал бы по-другому. Он бы приглядывался к ней неделю, прикидывал, кого она знает, чья она, — потому что в его времени у всякого перевода был свой смысл и всякий человек приходил откуда-то. Здесь, он уже понял, приходили просто так. Писали рапорт десять раз, и на одиннадцатый кто-то уставал читать.

Вечером, на Запарина, он долго не мог заснуть.

За стеной у телефонистки играло радио, без слов, одна музыка. Волченко лежал на спине и смотрел на трещину, которая шла от лампочки к углу потолка.

Где-то есть палата. Он знал это не как воспоминание, а как знают о другом береге: ты там не был, но понимаешь, что берег есть. В палате стоит кровать, и на ней лежит человек пятидесяти пяти лет, которого переворачивают по часам. Рядом сидит дочь и держит его за руку. Он пытался представить её лицо и видел только ладонь, с мозолью на среднем пальце, от ручки.

Радио за стеной смолкло. Заухали в стене трубы. Он прислушался и заснул, не досчитав до конца.

Первую неделю Белову не трогали.

Гусев положил ей на стол то, что в любом отделении мира кладут новому человеку, которого не хотят: нераскрытую мелочёвку. Кражи белья с чердаков. Два случая обмера покупателей в магазине. Заявление гражданки о том, что соседка извела её кошку.

Она не сказала ни слова. Она прочитала всё, переписала в тетрадь столбиком, завела на каждое производство карточку с датами, и через четыре дня положила Гусеву на стол три раскрытых: бельё с чердаков таскал подросток с той же улицы, обмер подтвердился актом контрольной закупки, а кошка нашлась живой на чужом сеновале.

— Быстро, — сказал Гусев, расписываясь.

— Это нетрудные дела, товарищ майор.

— Знаю, что нетрудные.

— Тогда я их не считаю. — Белова положила перед ним ещё один лист. — Я прошу допуск к картотеке розыска.

Гусев поднял глаза.

— Зачем?

— Потому что у вас картотека ведётся с тридцать второго года, а алфавитный указатель — с тридцать пятого. То, что раньше, найти нельзя. Я приведу в порядок.

— Это работа писаря.

— Это работа следователя, который хочет знать, что уже было, — сказала Белова.

Волченко в этот момент сидел за своим столом, в двух шагах, и переписывал повестку. Он не поднял головы и не изменился в лице. Но перо он на всякий случай обмакнул второй раз.

Тюриных убили в ночь на девятнадцатое февраля.

Точнее, убили одного Тюрина — Фёдора Кузьмича, пятидесяти одного года, мастера-кожевника с кожзавода, — а убили его у себя дома, в деревянном доме на Ильинской, топором, в сенях.

Вызов пришёл в половине третьего ночи. Гусев в это время спал дома, Паршин был на другом выезде, Цой — в засаде на барахолке.

— Пусть едет Белова, — сказал Гусев утром, узнав. — Дело ясное. Жена призналась, топор при ней, участковый всё оформил. Пусть поучится писать.

Она вернулась в двенадцатом часу.

Положила на стол папку. Сняла фуражку, положила рядом, провела ладонью по волосам. Руки у неё были в чернилах — писала много, подолгу, при плохом свете.

— Оформила?

— Оформила.

— Что-то не так? — спросил Волченко.

Она посмотрела на него.

До этого они разговаривали пять или шесть раз, и всё по делу: где бланки, кто подписывает, когда забирают почту. В отделе с ней разговаривали так: Паршин — громко и преувеличенно вежливо, Цой — односложно, Зина — как с равной, но только когда рядом никого. Гусев — через плечо.

— Тюрина Анна Степановна, — сказала Белова. — Сорок восемь лет. Призналась, что ударила мужа топором в сенях, когда он пришёл пьяный и полез драться. Говорит: ударила один раз, он упал, она испугалась и села на крыльцо ждать.

— А на самом деле?

— Ударов два. Второй — сверху вниз, в теменную область. — Она открыла папку, нашла схему, нарисованную от руки. — Тюрин был ростом под метр девяносто. Тюрина мне по плечо. Чтобы ударить его сверху вниз в темя, ей надо было встать на табурет. В сенях табурета нет.

— Может, он сидел.

— Он не сидел. Он упал на спину, и под ним на полу — кровь из второй раны, а первая — в плечо, по касательной, та как раз её. — Белова не настаивала, читала по записи. — И ещё. У них сын. Николай, семнадцать лет. Работает там же, на кожзаводе. Он был дома. Он сидел на кухне, пока я писала, и у него на правой руке, с тыльной стороны, свежая ссадина. Я спросила. Он сказал — на работе.

— Вы записали?

— Я записала, что видела ссадину. И что мать трижды за разговор повторила: «Коля спал». — Белова закрыла папку. — Её никто не спрашивал про Колю.

За перегородкой Зина перестала печатать.

— Вы понимаете, что будет, если вы это доложите? — спросил Волченко.

— Понимаю. Признание есть, раскрытие есть, товарищ майор доволен. — Она пожала плечом. — Я доложу.

— Доложите. И вам скажут, что вы из прокуратуры и не знаете жизни.

— Скорее всего.

Волченко встал, подошёл к её столу и сел на край — так, чтобы говорить вполголоса.

— Тогда давайте по-другому. Не докладывайте, что сомневаетесь. Доложите, что в деле нет допроса сына, а по закону он очевидец и его показания обязательны. Это не версия. Это пробел в материале, за который Лукин вернёт дело. Гусев не любит, когда Лукин возвращает.

Белова посмотрела на него внимательно.

— А потом?

— А потом вы допросите Тюрину ещё раз и зададите ей один вопрос. Такой, на который может ответить только тот, кто стоял в сенях. Деталь, которой нет ни в протоколе, ни в разговорах. Не про удар. Про мелочь: что лежало на полу, где стояло ведро, горел ли свет. Если она не знает — она там не стояла.

— Самооговор, — сказала Белова.

— Самооговор.

Она сдвинула бумаги на столе.

— Вас этому в Иркутской школе учили?

— Преподаватель говорил.

— У вас хороший был преподаватель, товарищ Волченко.

Она сказала это без иронии — и в этом было хуже всего. Она сказала это как человек, который услышал ответ, отложил его в сторону и вернётся к нему позже.

Волченко поднялся с края стола.

— Если вам понадобится, чтобы на повторный допрос пошёл кто-то второй, — скажите. Я свободен после четырёх.

— Зачем?

— Затем, что Тюрина будет плакать, а вам придётся давить, и будет лучше, если давить будет кто-то другой, а вы её потом пожалеете. Так быстрее.

Белова медленно надела фуражку.

— Вы всегда так считаете людей?

— Я их не считаю. Я их раскладываю.

Он сказал это и тут же пожалел — слишком гладко вышло, слишком готово, фраза с чужого стола. Но она уже встала и шла к двери, и на пороге, не оборачиваясь, сказала:

— В четыре.

Тюрина раскололась на третьем вопросе.

Белова спросила у неё, что было в сенях на полу, кроме тела, и Тюрина ответила: ничего. А в сенях на полу лежала опрокинутая корзина с мороженой рыбой, которую Тюрин принёс с собой и уронил, когда входил, — это стояло в протоколе осмотра участкового, корявым почерком, третьей строкой снизу, и Белова нашла эту строчку, а Тюрина про неё не знала.

Потом Тюрина кричала. Потом била себя кулаком в грудь и говорила, что всё равно она, и пусть её берут, и что сын ни при чём. Потом замолчала.

Николай Тюрин признался через час, сам, без вопросов, едва его ввели. Он сказал: отец бил мать семнадцать лет, и в ту ночь взял её за волосы и ударил головой о косяк, и он взял топор с полки, потому что топор был на полке.

Волченко сидел в углу и ничего не говорил. Белова писала.

Семнадцать лет. По Уголовному кодексу — полная ответственность с шестнадцати. Умышленное убийство без отягчающих — до восьми. Суд, при хорошем защитнике и при показаниях соседей, может дать меньше.

При хорошем защитнике.

— Ему нужен адвокат, — сказал Волченко, когда Тюрина увели. — Хороший. Не тот, которого назначат.

— Знаю одного, — сказала Белова, не отрываясь от бумаг. — Кравцова.

— Вы знакомы?

— Мы с ней два года в одном здании работали. Она — в консультации на втором этаже, я — в прокуратуре на третьем. — Белова промокнула страницу. — Она меня терпеть не может.

— За что?

— За то, что я в форме. — Она закрыла папку. — Это не вся правда, но для начала хватит.

Гусев кричал сорок минут.

Он кричал о том, что раскрытие теперь пойдёт другим числом, что квартальная сводка испорчена, что из одного дела сделали два и что в прокуратуре, откуда некоторые пришли, видимо, учат портить людям отчётность.

Белова стояла перед столом, не шевелясь, и смотрела ему в лоб.

Когда он выдохся, она сказала:

— Разрешите идти, товарищ майор.

— Идите.

В коридоре Паршин, проходя мимо, сказал ей в спину:

— Нормально сработала, Романовна.

Она не обернулась. Но плечи у неё опустились на полсантиметра, и Волченко это заметил.

Кравцова пришла в среду, к одиннадцати, с ордером на Тюрина Николая.

Пальто на ней было то же самое, с облезлым меховым воротником, и папка та же. За зиму она похудела, и от этого лицо стало ещё острее.

— Лейтенант.

— Здравствуйте, Вера Сергеевна.

— Я к следователю Беловой. — Она произнесла фамилию без выражения. — Мне нужно свидание с подзащитным и материалы.

— Елена Романовна на выезде. Будет к двум.

— Тогда я подожду.

Она села на лавку у стены — ту, отполированную штанами до блеска, на которой в сентябре сидели лейтенанты перед распределительной комиссией, — положила папку на колени и достала из неё бумаги.

Волченко постоял.

— Вы его вытащите?

Кравцова не подняла головы.

— Я его не вытащу. Он взял топор и ударил. — Она перевернула лист. — Я добьюсь, чтобы суд услышал про семнадцать лет и про то, что мать в тридцать четвёртом лежала в больнице с переломом челюсти, а участковый написал, что упала с крыльца. Это другое.

— Это много.

— Это мало, — сказала Кравцова. — Но больше нет.

Она подняла наконец глаза.

— Ваша Белова нашла мальчика сама. Её никто не просил.

— Она не моя.

— Понимаю, что она не ваша, — сказала Кравцова. — Я это к тому, что в вашем отделе за семь лет не было ни одного человека, который переделал бы готовое признание. А теперь их двое.

Она вернулась к бумагам.

— Идите работайте, лейтенант. Я подожду молча, у меня это хорошо получается.

Картотеку она подняла к концу февраля.

Ящики стояли у неё на подоконнике, на стуле и на полу вокруг стола, и она разбирала их по вечерам, по часу-полтора, пока отдел пустел. Карточки — серые, из плохого картона, половина без дат, четверть без фамилий: Волченко это видел ещё в сентябре, когда искал Тихонова.

В пятницу она положила перед ним три карточки.

— Вы просили у Зины ведомости на выдачу единовременных пособий семьям сотрудников, — сказала она. — За тридцать шестой и тридцать седьмой.

— Просил.

— Зачем?

Он поднял глаза. Она стояла напротив, держа руки за спиной, и смотрела прямо.

Соврать было легко. Он перебрал три варианта за полсекунды и выбрал четвёртый.

— Я ищу вдову одного участкового. Нефёдова Григория Ивановича. Он умер в декабре тридцать шестого. Он вёл дела, которые меня интересуют, и я хочу знать, не осталось ли у него дома бумаг.

— Каких дел?

— Пропажи без вести. Пять женщин за четыре года.

Белова не моргнула и не переспросила.

— Нефёдова Клавдия Осиповна, — сказала она. — Пособие сорок рублей, получено двадцать девятого декабря тридцать шестого года. Адрес: Льва Толстого, одиннадцать, квартира два. Я проверила по домовой книге — живёт там же.

Она положила перед ним четвёртую карточку, переписанную её рукой: фамилия, адрес, сумма, номер ведомости.

— Вы её уже нашли, — сказал Волченко.

— Я нашла её во вторник. Я три дня думала, отдавать ли.

— И?

— И сходила к ней сама. Вчера, после службы, в штатском.

Волченко положил перо.

— Зачем?

— Затем, что я хотела посмотреть, что вы за человек. — Она смотрела прямо, не мигая. — Если бы я принесла вам адрес и вы пошли бы к вдове в форме, с рапортом и с разрешения Фёдора Степановича, — это одно. А вы бы не пошли. Вы бы пошли без рапорта. Значит, дело такое, о котором не докладывают. Я хотела знать, во что лезу, прежде чем лезть.

— И что она сказала?

— Что мужа звали Гриша, что он последний год не спал, что в сентябре тридцать шестого он три вечера что-то писал и рвал, а четвёртый вечер не рвал. — Белова чуть наклонилась вперёд и понизила голос. — И что за неделю до смерти к нему приходил человек. Не из отделения. Вежливый.

В кабинете стало слышно, как на улице скребут лопатой по наледи.

— Она согласна говорить?

— Согласна. — Белова выпрямилась. — Но не в форме. И не с одним вами.

# Глава 5

Лапник лежал неправильно.

Это Волченко увидел с дороги, не доходя тридцати шагов, — и дальше шёл уже зная, что увидит.

Еловые лапы в лесу падают как попало: веером, крест-накрест, с подвёрнутыми концами. Эти лежали рядком. Их раскидали дорожные рабочие — двое, с лопатами, они стояли теперь у грузовика и курили одну папиросу на двоих, — но даже раскиданные, они сохранили рисунок. Кто-то клал их одну к другой, плотно, от ног к голове.

Восьмой километр Владивостокского шоссе. Кювет, за кюветом — ельник, в ельнике — просека под будущую линию связи, вырубленная осенью и брошенная до весны. Снег сошёл неделю назад, земля была чёрная и мокрая, и пахло прелой хвоей и талой водой.

— Не трогали? — спросил Волченко.

— Да вы что. — Старший из рабочих, мужик лет пятидесяти в брезентовом плаще, замотал головой. — Я лопатой сунул, думал — мешок. Потом гляжу — сапожок.

— Кто-нибудь ещё подходил?

— Шофёр подходил. И всё. Мы сразу на участок, оттуда звонили.

Участковый дорожного участка, молоденький, с незастёгнутым хлястиком, стоял поодаль и старался дышать в сторону.

Волченко повернулся.

— Цой, понятых. Возьми из конторы участка двоих, только не этих. Паршин — перекрой дорогу с обеих сторон, чтоб не останавливались. Елена Романовна, вы будете писать.

— Я?

— Вы. У вас почерк лучше и рука не дрогнет.

Она посмотрела на него секунду дольше, чем нужно, и достала планшет.

Он работал медленно. Так, как не умел в сентябре и как выучился к марту: по образцу, который Зина переписала ему своим школьным почерком, и по десяти собственным рапортам, из которых три Лукин вернул с пометками на полях.

Сначала — подходы. Тропы к просеке не было; из кювета в ельник вела наклонная промоина, по которой весной шла вода. Волченко прошёл по её краю, не наступая. На дне промоины, в глине, ничего — всё затёрло талой водой за неделю.

Потом — общий вид. Белова писала под диктовку: расстояние от полотна дороги — сорок два шага; от просеки — девять; ориентир — третья ель от края вырубки, с обломанной вершиной.

Потом — лапник. Четырнадцать лап. Срез на комле — косой, чистый, одним движением. Не ломали руками. Резали ножом, и нож был хороший.

— Запишите отдельным пунктом, — сказал Волченко. — Все срезы однотипны, выполнены острым орудием, направление среза единое.

— Это важно?

— Это значит, что он не торопился.

Только после этого он подошёл к телу.

Она лежала на спине. Руки вытянуты вдоль туловища, ладонями вверх. Ноги вместе. Голова чуть повёрнута вправо.

Пальто — демисезонное, тёмно-серое, короткое, какое носят на осень и в котором в ноябре при двадцати восьми градусах не проходишь и часа. Застёгнуто на все пуговицы, до горла. Под ним — платье, коричневое, с мелким рисунком. На ногах — боты, не валенки.

Зиму она пролежала под снегом. Холод сделал то, что делает холод: ткани высохли, кожа потемнела и стянулась, но форма осталась. Лицо Волченко осмотрел и перешёл дальше — смотреть там было не на что, а Беловой это описывать всё равно придётся с его слов.

На шее, поверх воротника платья, лежали бусы. Синее стекло, крупная грань, нитка целая.

Он смотрел на них дольше, чем на всё остальное.

«Нарядилась — бусы надела, синие, стеклянные, ей мать покойная оставила».

— Бусы не тронуты, — сказал он. — Запишите: стеклянные бусы синего цвета, нить не нарушена, находятся на шее потерпевшей. Пальто застёгнуто на все пуговицы.

Белова писала.

Карманы он осматривал в присутствии понятых — двух счетоводов из конторы дорожного участка, которых Цой привёл под руки, бледных обоих. В правом кармане пальто — носовой платок и две копейки. В левом — ничего. Под пальто, в кармане платья, — гребёнка.

Ни паспорта. Ни справки с места работы. Ни кошелька — хотя две копейки в кармане говорили, что кошелёк был и что его взяли вместе с бумагами, а мелочь, выпавшую мимо, убийца искать не стал.

Волченко присел на корточки и приподнял левый рукав.

Запястье. Кожа на внутренней стороне сохранилась лучше, чем на лице, — её закрывал рукав. Поперёк, в двух пальцах выше основания ладони, шла тёмная сухая полоса. Ровная. Короткая. Края не разошлись.

Он смотрел на неё, считая до пяти, и в голове у него было пусто и очень чисто.

Пятая. Нет — из тех, кого он видел своими глазами, вторая. Из тех, чьи фотографии лежали в его сейфе через восемьдесят семь лет, — тоже пятая из семи.

— Что это? — спросила Белова у него над плечом.

— Порез. Три сантиметра, левое запястье, поперечный, неглубокий. Пишите так, без выводов.

— Он прижизненный?

— Это скажет врач.

— Вы знаете, что скажет врач.

Волченко поднял голову.

Она стояла над ним с планшетом в руках, и лицо у неё было белое — не до обморока, а до прозрачности, когда под кожей видно всё строение. Губы она держала сомкнутыми. Руки с планшетом не дрожали, потому что она прижала планшет к животу и упёрлась в него локтями.

— Вторая, — сказал он.

Сказал и услышал.

— Что — вторая?

Он поднялся, отряхнул колено.

— Вторая такая за полгода в сводках. — Голос вышел скучный, служебный. — В октябре за Красной Речкой нашли женщину. Я выезжал. Похожее положение тела.

— Вы её вели?

— Веду. Мартынова Галина Петровна. Дело не прекращено.

Белова поправила воротник.

— Вы сказали «вторая» так, — проговорила она наконец, — будто у вас есть первая, третья и список.

— У меня есть две, Елена Романовна. Пишите.

Она записала. Но Волченко, диктуя дальше про положение головы и направление стоп, знал: это не ушло. Такие вещи не уходят. Они ложатся на дно и там лежат, пока что-нибудь их не поднимет.

Зильберман приехал через два часа, на той же пролётке, с тем же кожаным саквояжем.

Он кивнул Волченко, как кивал всегда — коротко, без приветствия, — и пошёл к телу, на ходу натягивая перчатки.

Работал он долго. Присел, посмотрел, ничего не трогая. Потом тронул. Потом попросил Цоя приподнять лапу ели, которая мешала свету, и держать.

— Кто составлял протокол? — спросил он, не оборачиваясь.

— Я, — сказала Белова.

— Прочтите пункт о положении рук.

Она прочла.

— Добавьте: кисти обращены ладонями вверх, пальцы полусогнуты, в естественном положении. — Зильберман поправил пенсне тыльной стороной запястья. — Это существенно. Если бы её бросили, руки легли бы иначе.

— Вы считаете, её уложили, — сказал Волченко.

— Я считаю, что её положили. — Зильберман выпрямился. — Разница есть, молодой человек. Бросают тяжесть. Кладут — человека.

Он снял перчатки и посмотрел на Волченко поверх пенсне. Глаза у него были светло-серые, усталые, с красными прожилками.

— Я это уже видел.

Волченко не шевельнулся.

— Где?

— В октябре. За кладбищем у Красной Речки. — Зильберман щёлкнул замком саквояжа. — Женщина, двадцати шести лет, одежда в порядке, вещи не тронуты, тело уложено на спину и прикрыто ветвями. И порез на левом запястье, от которого не умирают.

— Вы помните?

— Я помню всё, что вскрываю, — сказал Зильберман. — Это, по-видимому, профессиональный недостаток.

Он пошёл к дороге, и у самого кювета остановился и обернулся.

— Вскрытие завтра, в девять, в прозекторской второй городской. Протокол ваш нужен мне до начала. — Пауза. — И ещё, товарищ лейтенант. Если вы напишете в рапорте, что случаи сходны, это запишут за вами. А если это напишу я в заключении — это запишут за мной. Вам какой вариант удобнее?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.